

Мой прапрадед с маминой стороны имел врождённый дефект, который делал его не годным к воинской службе. (Судя по фотографиям, в старости, – косоглазие.) В связи с этим и казачий земельный пай в 30 десятин, определённый Положением 1835 года о Донском казачьем войске, ему станичное общество, как не служившему, не выделяло. Уж совсем то безземельным он не оставался – нарежали полпая, как казачьему сироте, поскольку родители умерли от холеры в один год и остался он тринадцатилетним подростком с десятилетней сестрою на попечении.

Сестра жила «в людях» – нянчила детей, потом кухарила. Он же по приговору стариков, сначала служил помощником табунщика на казённом конном заводе – лошадей объезжал, а затем станичный атаман решил, что держать его в степи – как золотыми часами гвозди забивать – можно, но дорого, поскольку прадед грамоту знал (родители успели дать ему какое-никакое образование, понимая, что к военной службе он не годен), а в уме считал так, что за ним и на счётах не поспевали. Наладили его счётчиком в казённую ссыпку – там уже и жалование ему следовало. Но служил он на этой должности недолго и выпросился у атамана на вольные хлеба – к торговому казаку – приказчиком. Вскорости стал он первым помощником хозяина – честным, толковым и преданным. И жалование ему за это пошло хорошее – позволило сестру из услужения от людей забрать и определить в девичий монастырь до замужества, как это обычно совершалось в состоятельных казачьих семьях, а из жалования кое-что, наверное, и поднакопить успел.

Затем в его жизни произошёл полный поворот. Из Новочеркаска приехал землемер, поскольку Область Войска Донского и соседней Саратовской губернии обозначенной границы и размежевания не имели, то надлежало владения обмерить и по планам развести. Землемеру требовался грамотный

помощник и станичный атаман, своею волею, моего прапрадеда из приказчиков забрал и к землемеру определил.

При разведении межей, оказалось, что в степи, значительное количество драгоценной чернозёмной земли вообще никому не принадлежит, не распахано и никакого жительство на ней нет. Разработали план переселения казачьих семейств сюда на освоение целины из малоземельных станиц. Переселение пошло, но всё равно свободной земли оставалось много, особенно за границей Войска в саратовских степях, и хоть стоила она копейки, а охотников её покупать не нашлось. Кроме, моего прадеда! Весь свой невеликий накопленный трудми капитал вложил он в покупку земли и чуть ли в восемнадцать лет стал как бы землевладельцем.

Тут нужно объяснить, что в личном владении казаков собственной земли не было вообще. Совсем! Земля была в ведении Войска, делилась на станичные юрты, а уж там – на казачьи наделы, которые передавались казачьей семье от посева до снятия урожая. Фактически принадлежала не земля, а урожай. Сначала ежегодно, а потом через три, через пять лет наделы заново перераспределялись между станичниками, дабы тем справедливо сохранялось меж казаками имущественное равенство и достаточность к службе. Ни продать, ни купить надел войсковой земли казак не мог. Исключение составляли земли восстановленные – засыпанные овраги, промытые солончаки и пр., которые переделу не подлежали и закреплялись за владельцем и его семьёй навечно. Однако же и эти земли казаки-хозяева могли продать только своим казакам или в Атаманское правление, но не иногородним. Каким-то образом это положение закона обходилось, и на войсковых землях, как раковые опухоли, появлялись и увеличивались территории, принадлежавшие немцам-колонистам. Землями же, купленными за свои деньги вне границ Области войска Донского, владелец мог распоряжаться как угодно.

Я думаю, что на моего прапрадеда его односумы станичники и хуторяне смотрели не только как на косоного-убогого, но и как на дурака «вбившего деньги в пустопорожнюю затею». Казаки земли не покупали. Зачем?! И собственные-то наделы сдавали в аренду мужикам, поскольку постоянно отрываемые на службу, обрабатывать её, как положено, сами не имели возможности.

Но прапрадед то не служил! И хоть косым глазом, а за своей землёю присматривал, правда, до поры до времени, никаких барышей нетронутая степная целина ему не приносила, пребывая впусе.

Час пробил, когда наступило время строительства железных дорог и государство стало выкупать владельческие наделы там, где намеривались класть «чугунку». Мгновенно цена подобной земли вознеслась в десятки раз. А у прапрадеда как раз такая земля случилась и вроде бы много. По хорошей цене государство землю выкупило, да ещё и благодарность ему объявило.

Мой пращур относительно разбогател, женился, построил дом для своего семейства, дом для сестры, выделил ей хорошее приданое и выдал замуж за достойного, отслужившего срочную службу, казака. Молодые, до свадьбы-то и не знакомые, всей душой прилепились друг к другу, и через год родился у них мальчик, а более деток Господь не дал.

Зато у старшего брата дети посыпались, как из мешка, иной раз и по двое в один год. Два моих двоюродных прадеда – одного года рождения – один родился в январе, а второй в декабре – интервал одиннадцать месяцев!

Бабушка моя говорила, что в семье росли два Ивана и два Василия, и в том – никто противоречия не видел! Крестили-то по святым, припадавшим к рождению детишек, а святые-то были разные: скажем, Иоанн – Предтеча и Иоанн – Златоуст, Василий Великий и Василий Блаженный – Христа ради юродивый... Решал каким именем новорождённого нарекать – священник по Святым. Безусловно, он прежде спрашивал:

– Каким именем желаете покрестить?

И получал чаще всего ответ:

– Да как определите, батюшка, посмотрите в Свяцах на кого припадает...

И уж выбору священника, разумеется, никто не противоречил.

Прапрадед, как и положено родителям, на крестинах не присутствовал, и как, опять-таки с улыбкой, говорила моя бабушка:

– Дедушка, Иван Николаич, при перечислении детей всегда запинаясь и сбиваясь... Говорили, что когда в редкие дни бывал дома – мог и обмишкулиться – перепутавши детишек по именам. И они его поправляли:

– Тятенька, я ведь не Иван, я – Демьян. А Ванька на пчельник поехал...

Тем более, что в семье имелись близнецы – двойняшки и даже одна тройня.

Прапрадед был счастлив не только в детях. Трудился он, мотался неделями по степи, не зная отдыха, принимаясь за самые разные дела и успешно их проворачивая. Открыл в нескольких станицах лавки, скупал скот, в том числе и бродячий, такого у казаков было полно, и он почти ничего не стоил. Гнал скот или вёз по железной дороге в Москву на бойни и продолжал скупать пустые целинные земли. И хотя цена на пахотные земли подскочила, целину всё равно мало кто покупал. Иван Николаевич к той поре в этом уже очень хорошо разбирался, протоптав дорогу в Земельный банк.

Вероятно, хотелось ему брать льготные кредиты в Крестьянском банке, куда казакам, закованным в сословные рамки, ход был заказан. Иначе как объяснить, что по одним документам он – казак, а по другим – крестьянин, при этом землю не пахал никогда и от урожаев не зависел...

Однако беда не миновала. У горячо любимой сестры, от «глотошной» – дифтерита умер семилетний единственный сынишка. И на той же неделе – погиб муж. Весной он ехал через Дон ещё на санях, взявши попутчицей вдову с малолетним ребёнком. Посредине реки лёд треснул и пошёл – начался ледоход. Казак схватил ребёнка на руки, добежал по льдинам до берега, отдал его на руки сбежавшимся смотреть на ледоход жителям, а сам вернулся назад к саням, где голосила вдова и потащил её к берегу. Но, как говорили очевидцы, вдова, обезумевшая от страха, вцепилась в него и утянула под лёд.

Иван Николаевич взял на воспитание осиротевшего ребёнка и позже устроил его судьбу – вырастил и выучил. Приёмыш, по окончании Казанского юнкерского училища, стал офицером и в русско-японскую войну погиб.

Осиротевшая и овдовевшая в одну неделю сестра Ивана Николаевича чуть ли не полгода лежала замертво без памяти, а затем, очувствовалась и твёрдо решила идти в монастырь. Как её не отговаривали, поскольку ей от роду всего 24 года, решения своего она не изменила и приняла постриг в беднейшем Краишевском девичьем монастыре, сменив имя Мария на монашеское Магдалина. Мой прапрадед, сделал за сестру вклад в монастырь – 50 десятин (54 с половиной гектара)

земли. Монахини этот, лежащий далеко от монастыря в степи «урез», сумели продать, и купили ближайший к монастырю участок, на котором разбили роскошный плодовый сад, и во благовремени смогли садовым урожаем прирабатывать на монастырь. Монастырь сделался благополучен, а за небольшим числом в этом краю монастырей стал известен и почитаем. Разумеется, в гражданскую войну его снесли с лица земли до основания... Монахинь – каких постреляли, иных – приморили голодом, а уцелевших – разогнали. Слава Богу, ни мой прапрадед, и матушка Магдалина до этих дней не дожили – успели умереть раньше.

Всю жизнь брат и сестра почитали друг друга, только теперь, как говорится, «арба перевернулась» не младшая сестра пребывала в полной воле старшего брата, а старший брат перед каждым серьёзным делом ездил к сестрице спросить совета и помолиться.

Матушка Магдалина стала крёстной внучатой племянницы – внучки Ивана Николаевича старшего и единственного своего брата – «Лампияды», как она писала на фотографиях, дарёных моей родной бабушке Олимпиаде.

Прапрадед дважды вдовел. И если в первое вдовство необходимо было сразу жениться – оставался он сиротеть с 15 детьми, в том числе и малолетними, то когда овдовел во второй раз и детей прибавился ещё с десятков, то старшие были уже взрослые, женатые и замужние. Единокровных братишек и сестрёнок они разобрали по своим семьям, а прапрадед, выдержав годовой траур, решил, вослед за сестрой, уйти в монастырь, чтобы окончить дни в молитве и покаянии.

Перед тем, как утвердиться в своём решении, поехал Иван Николаевич в монастырь к сестре – повидаться и проститься с мирской жизнью. Разумеется, его в монастыре встречали как самого дорого и уважаемого гостя. В те дни там готовили к принятию пострига «старую девушку» без малого сорока лет. Уж не знаю, как прапрадед воспламенился, какими словами девушку уговорил, а только умчал он её из монастыря, оставив сестре записку, в которой слёзно просил простить его, многогрешного, за то, что «к вдовству он оказался, по сердечной своей слабости, не готов»...

Через год в этом браке родился мой любимый дядя Коля. Прапрадеду в ту пору исполнилось 73 года, а его старшему сыну – было уже за пятьдесят!

В третьем своём браке Иван Николаевич прожил недолго и умер, когда его последышу – Николаю Ивановичу исполнилось только пять лет. Все старшие дети – давно женатые, а первенец прапрадеда уже и внуков имел, были людьми определившимися, исправными, в большинстве своем состояли на различных должностях по военному ведомству или на железной дороге, а ещё и фельшеры, и коновалы, ветеринары... Достаток имели разный, но не бедствовали.

Собравшись на похороны отца, они согласно решили: наследство отца не делить – да оно и оказалось весьма небольшим – (прапрадед, загодя, все роздал детям на «обзаведение»), а оставить капитал и дом младшенькому, как он – сирота. И кроме того, каждому от своего состояния уделить вдове и сироте часть – кто сколько даст по совести – деньгами и землёй. Так дядя Коля оказался достаточно обеспеченным, казалось, на всю будущую жизнь.

Его матушка Мария Ивановна до самой смерти казнилась тем, что поддавалась искушению и не стала монахиней. Детей своего мужа стеснялась, особенно тех, кто годами был её старше, а жить без хозяина в станице ей представлялось затруднительно и неловко. Хотя Окружная станица в те годы уже весьма относительно напоминала сельское поселение, а более походила на провинциальный город.

С помощью сыновей Ивана Николаевича она распродала всё имущество, положила вырученные деньги в банк и уехала в Москву. Процент от банковского вклада оказалось достаточно на скромную, но приличную городскую жизнь. Так дядя Коля в пятилетнем возрасте стал рантье – хотя значение этого слова понял, когда его начала гонять за непролетарское происхождение родная советская власть.

В станицу дядя Коля с матерью ездили каждое лето, поскольку формально оставались в ведении Станичного казачьего общества, что до времени никак на их жизни не отражалось. Ничтожный процент с аренды половины казачьего пая, положенный дяде Коле, как казачьему сироте, скорее всего существовал только на бумаге и уходил целиком в уплату войскового налога и на прочие станичные нужды, но и без него, живя в Москве, дядя Коля с матушкой пусть и не роскошествовали, но жили безбедно.

В станице отдыхали от городской суеты, дышали целебным степным воздухом, а самое главное, не теряли родства

с жившими здесь старшими братьями, сёстрами и многочисленными племянниками, которые все были старше «деденьки» – дяди Коли. Но самая крепкая дружба возникла между племянницей «дединьки» Коли – моей бабушкой, хотя она была старше его на два года.

Я помню, как сидя в нашей тринадцатиметровой комнатухе в коммуналке на окраине Ленинграда, они счастливо хохотали, вспоминая станичное детство. Двое уцелевших из некогда огромного казачьего рода, сметённого начисто валом революций, гражданской войны и всех бед, обрушившихся на Россию и превзошедших библейские «казни египетские».

– А помнишь, как мы играли на заднем дворе в «палочка поддюдёрила», а ты в выгребную яму упал, выскочил и давай за нами бегать!

И старик со старушкой заливались смехом.

– Да зачем бегать-то? – не понял я

– Как зачем? – ответили они в один голос, сотрясаясь от смеха. – Дерьмом мазать! Он же вывалился в назёме с ног до головы!

– А вы-то!.. А вы-то!.. – смеялся дядя Коля. – Все в белых фартучках, накрахмаленные, в шляпках... Вроде праздник какой-то был...

– Да никакой-то, а Пасха! – утирая весёлые слезы, говорила бабушка. – Только из церкви пришли от службы да разговелись... Пустились в праздничном – на дворе погулять...

– ...А там-то палочка и поддюдёрила! – умирал от смеха дядя Коля. – Вот уж поддюдёрила, так поддюдёрила.

– А что это за игра такая?

– Прятки с догонялками. Спрячешься, а водила тебя ищет, найдёт – запятнает, и нужно бежать к тому месту, где он водил – отпятнаться вперёд водилы и кричать «Палочка поддюдёрила!» Если до водилы отпятнаешься, то и не водишь! Вот я и спрятался... Вот и поддюдёрила!

Бабушка моя, пережившая ад кромешный на Дону, гибель сына на фронте в 41-м году, всю блокаду в Ленинграде, маленькая, тёмненькая, словно усохшая. «Дединька» Коля выглядел рядом с ней просто сказочным принцем, иностранцем и белым лебедем!

Он заезжал к нам обычно летом, когда пребывал в Ленинграде в многомесячных командировках. Всегда в отутюженных белых костюмах, в лёгкой соломенной шляпе – чуть

набекрень на тщательно причёсанной седой с голубым отливом (мыл голову с подсинькой) причёской, без малейшего намека на лысину, с угольно чёрными бровями. Брови красил. Однажды со слепу перепутал и насандалил брови химическим карандашом. Вышли на улицу, я на него глянул:

– Дядя Коля, ты, как Мальвина, с голубыми волосами.

– Что такое? – встревожился он, торопливо вытаскивая их кармашка зеркальце. – О, Боже мой! Ужас какой! – и поскакал назад на четвёртый этаж, оставив у меня в руках свою неизменную тросточку, с которой «ради форса» гулял.

В свои далеко за семьдесят, а потом и за восемьдесят лет он был строен совершенно, не сутул фигурой и лёгок походкой. С ним было всё очевидно: – «Человек с раньшего времени». Либо артист, либо художник, а может, даже иностранец... Бывший князь или граф...

Не князь и не граф!... При полном несоответствии традиционному плакатно-киношному образу – происхождением простой казак. Чем, по известным в те годы причинам, не козырял, но всегда про себя помнил и гордился. А вот то, что с «раньшего времени» – с первого взгляда виделось точно. Обломок Российской Империи, теперь уже из позапрошлого века.

Оказавшись совсем ребёнком в Москве, «дединька» стал настоящим москвичом. Ежегодно возвращаясь в станицу, здесь выглядел горожанином. Но ни сверстников казачат, ни старших казаков это не раздражало, а наоборот – делало предметом гордости и уважения. Притом что станичники того времени и того уровня, к которому принадлежал дядя Коля, – станичная интеллигенция: учителя, врачи, фельшеры, агрономы, младшие офицеры, священники пребывали и в родне в изрядном числе, и сами-то не особенно отличались от горожан, ну, разве что донским казачьим говором.

Долгое время казаки законодательно не допускались ни к какому роду деятельности, кроме хлебопашества и военной службы. Ещё в конце XIX века, после отмены крепостного права, от всей Области Войска Донского, от миллионного числа казаков и с личного поимённого разрешения Наказного атамана, поступить в высшие учебные заведения могли только пять казаков. два – в военно-медицинскую Академию, два – в сельскохозяйственную и один в Технологический институт – учиться на инженера-путейца. Но после реформы 1874 года, когда запреты отменили, казаки валом кинулись учиться,



правда, мешало недостаточное предварительное образование, но природные способности, «схватчивость», упорство, трудолюбие и степное здоровье позволяли превозмочь всё, и сыны степей, дети рубак и пахарей за сравнительно краткое время значительно пополнили русскую науку и культуру, увеличив слой образованных людей России.

Дядя Коля, живя в Москве, получил хорошее гимназическое образование. Кроме того, в нём открылись музыкальные способности, и он даже, вроде бы, параллельно гимназии, окончил какую-то частную консерваторию по классу фортепиано.

Но далее «накрыла его», по его собственному выражению, «жгучая страсть»! Чуть ли не в семнадцать лет он первый раз женился! Не чаявшая в нём души, матушка, хотя сей брак и не приветствовала, но и особых препон не чинила. Традиционно женились рано. Например, моя прабабушка (сводная сестра дяди Коли) первого из своих 16 детей родила в пятнадцать лет...

Однако прожил в первом браке дядя Коля не более месяца. Это, как он говорил – «свистнула первая стрела судьбы, пронзившая моё сердце навеки».

Между дядей Колей и мной, при разнице в возрасте более чем полвека, возникла удивительная дружба и полное понимание. Поэтому все его рассказы он начинал с традиционной фразы – почти запева:

– Боречка! Ты мой самый близкий человек! Ты меня поймёшь...

Не единожды мы пытались счесться родством – кем же мы с ним друг другу приходимся. Он – сын моего прапрадеда, стало быть, моя бабушка (внучка прапрадеда) приходилась ему племянницей, а кем же ему приходился я – её внук? Внучатый праправнуком?

– В данном конкретном случае, это не имеет никакого значения – у нас духовное родство, – говорил дядя Коля, окончательно запутавшись в вычислениях степени родства, – ты мой самый близкий человек и точка. Я терпеть не могу стариков! Все эти разговоры о болезнях, бесконечные сетования на отсутствие денег, на непонимание молодёжи... Какое непонимание? А достойны ли вы сами понимания? С чего бы это вас понимать? Вот у нас тобой какое непонимание? Ты – моя вос-

кресшая молодость! И всё! И точка! Единственно, я иногда боюсь обременять тебя своими рассказами и своим обществом...

Не обременял! Никогда!

– Боречка, Ты мой самый близкий человек, и я тебе скажу... Ты поймёшь! Я женился по отчаянной любви! Я дышать рядом со своей избранницей боялся! Я следы её ног целовал! Ночи напролёт простаивал, глядя на её окно. И вдруг такое счастье: она – моя жена! Небесное божество – моя жена!

Боречка, ты самый близкий мне человек и, я знаю, – ты поймёшь... Прожили мы две недели или месяц... Квартирку сняли маленькую, милую такую, как бонбоньерку... Я всегда приходил с цветами.. Вся квартира в букетах...

И вот я прибегаю... А она сидит посреди комнаты, задравши ногу и стрижёт ногти!.. Представляешь?! Она! Но ужас не в этом! Ты меня поймёшь! Я же не идиот какойнибудь, у людей есть всякие неизбежные физиологические особенности... Но дело не в этом! Она даже не смутилась! Как сидела, так и сидит, задравши ноги! «А, – говорит, – ты пришёл» – и стричь ногти не перестаёт... А я с букетом... Для меня мир рухнул!.. Я больше её видеть не мог!

Не скоро, но всё же опомнившись от своей первой любви, дядя Коля поступил (скорее всего, за счёт Войска) в сельскохозяйственную Академию, увлёкся наукой, и хотя своего разочарования не позабыл и в старости-то рассказывал мне о нём с дрожью в голосе, а учился успешно, увлечённо и мог бы, наверно, стать учёным. Правда, неизвестно куда бы повернулась тогда его судьба, поскольку начинал интересоваться брезжившей тогда на горизонте науки генетикой... Но грянула Первая Мировая война!

Увлечённый наукой, дядя Коля войну поначалу не очень заметил. Ведь постоянно и прежде его старшие братья уходили куда-то воевать на какие-то войны – для казачьих семей это хоть не совсем обыденность, однако, норма, тем более, что для людей московского окружения дяди Коли, вероятность пойти на фронт не была очевидной – студентов в армию не призывали... Но он-то казак, стало быть, подчинялся Войсковым приказам, которые на остальное население Империи не распространялись. Потому, как гром с ясного неба, хотя и не в первый год войны – пришло ему предписание явиться на станичный майдан в справе, с конём и всей амуницией.

– Боречка, я от этих слов «с конём» чуть в обморок не упал! С каким конем? Я коней босю! Я же в Москве только на извозчике ездил. Но делать нечего – к указанному сроку приехал в станицу, оделся поприличнее, стал, как полагается, на майдане в строй... Атаман, который сотню к передаче воинскому начальнику готовил, как меня увидал – чуть не заплакал:

– Голубь! Куды ж мне тебя девать?!

Добрый человек, входил в положение, я же ещё и у матери – единственный сын. Хоть формально, но – кормилец. Несколько дней они в Правлении с воинским начальником голову ломали, а потом придумали отправить меня в школу прапорщиков – «шофферов», там самый длительный срок обучения.

Перекрестил меня атаман на дорогу:

– Давай, – говорит – учись – не торопись, может, пока выучишься, и война закончится...

Однако, старик из Правления, что тоже меня провожал, только вздохнул тогда:

– Это вряд ли...

Вот учусь я, учусь, а война не кончается. Начальник училища, добрый человек – меня пожалел – оставил инструктором. Поменял я погоны вольноопределяющегося на погоны прапорщика. Учу! Моторы разбираю. Уж, казалось, каждую гайку знаю наощупь... Сколько шофферов обучил и на фронт проводил... А война всё не кончается! Наконец, вызывает меня начальник – у меня сердце оборвалось, иду, как агнец на заклание, и точно:

– Ничего поделатъ не могу. – говорит, – Невозможно тебя больше держать. Поезжай на фронт. Будем Бога молить, чтобы он тебя не оставил...

Плакал я, плакал, однако, посадили нас в вагоны, моторы наши на платформы под брезент закатали и поехали. Был голос – идём в последнее наступление на Германию, уж гвардии мундиры для будущего парада Победы в Берлине шьют... Может, и шьют, а ведь убить-то ещё вполне могут. А мне маму так жалко, так жалко... Молюсь да плачу. Со слезами молюсь... Вот на фронт приехали, а пока ехали, всё рухнуло... И все бегут... Обратные составы битком, солдатня даже на крышах едет... Ну, и я погоны снял да и «побёг»...

Бабушка рассказывала, что появился Коля в станице в восемнадцатом году. Неизвестно при какой власти, в неразберихе гражданской войны. Стоял во дворе и кричал:

– Липочка! Липочка, есть кто живой?!.

– Я высочила, с крыльца к нему бросилась. Он чёрный и худой, как скелет. Кричит:

– Не подходи ко мне, я весь во вшах, вон чуть шинель от вшей не шевелится. Дай мне что-нибудь, если есть, из еды. Собери узелок и вон на плетень повесь. Я оттуда возьму...

Я ему всё, что было, собрала. Он взял, в пояс мне поклонился, издалека прекрестил и пошёл на шлях – там всё телеги, телеги, казаки и конные, и пешие – идут, идут...

Объявился дядя Коля в 1928 году в Москве, уже с женой и двумя сынишками, когда и матушка его от голода умерла раньше срока и весь род кровавым языком слизала гражданская война. Дядя Коля из Москвы прислал моей бабушке письмо, сообщая, что жив, работает агрономом. Живёт в Белоруссии, а жену с ребятами привёз и определил в Москву – мальчикам учиться нужно... Они, слава Богу, под категорию лишенцев не попадали.

Как-то, под случай, я спросил у него:

– Дядя, Коля, а где ж ты был десять лет с восемнадцатого по двадцать восьмой год?...

Он долго молчал, а потом тяжело вздохнул:

– Боречка, ты мой самый близкий человек, и вот тебе вот, как перед иконой, – широко перекрастился: – Вот как на исповеди скажу: «Я не только никогда не стрелял в человека, но даже никогда и не целился...»

Этим вся информация была исчерпана навсегда.

Точно так же он никогда ничего не рассказывал о своём пребывании на фронте в Великую Отечественную войну, хотя вроде бы имел офицерское звание и в коробочке у него в письменном столе сохранялись две медали: «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией». Он их никогда не надевал, кино про войну не смотрел и в разговорах о войне не участвовал, говоря коротко:

– Всё вранье! Всё! Голое вранье от начала до конца!

Сташий сын его погиб в 1944 году. А дядю Колю в конце мая 1945 года демобилизовали. Поскольку сразу после Победы были демобилизованы военнослужащие старших возрастов, тяжело раненые, а кроме них, в обязательном порядке и в первую очередь, агрономы и учителя...

Дядя Коля, как агроном, да и не молод – демобилизовался и где-то работал, я думаю, на машинно-такторной станции,

ведь кроме того профильного сельскохозяйственного образования, со времён школы прапорщиков, он владел профессией механика довольно высокой квалификации. Про этот период своей жизни он тоже ничего не рассказывал, отделяясь фразой: «пахал как лошадь», однако, звание «Заслуженный агроном РСФСР» имел, и такая медалька в коробочке у него тоже хранилась, но и её тоже никогда не носил.

В 60 лет – выкатился на пенсию и о своей новой жизни рассказывал так:

– В первый месяц только спал. А потом отоспался и через полгода взвыл! На пенсии жить невероятно скучно! Просто невозможно! И тогда я написал прошение, что хочу учиться. Вероятно, прошение адресовалось министру высшего образования. И мне разрешили (возможно, смеха ради) стать вольнослушателем Строгоновского училища. (Всегда хорошо рисовал). У меня опять началась замечательная студенческая жизнь. Представляешь, я на старости лет оказался среди таких как ты! Это счастье.

Мало того, что дядя Коля сделался самым старым студентом в СССР – о чем сообщалось даже статьёй в газете, он окончил образование с красным дипломом.

– И я сказал: командировочные деньги мне платить не надо – у меня очень хорошая пенсия, оплачивайте прогоны и гостиницы. А жить в командировке буду сколько надо – столько и проживу. Семьи у меня нет.

Так дядя Коля стал высочайшей квалификации, может быть, одним из первых в нашей стране, ландшафтным дизайнером (тогда этого слова не знали). Он называл себя парковым архитектором или садовником-реставратором. То есть – принялся восстанавливать старинные парки, те, в которых прошла его молодость, те, что он помнил в их былой утраченной красоте.

В Ленингдаре он проводил целое лето, размещаясь в какой-нибудь хорошей гостинице, как правило, в номере люкс, поскольку через неделю-другую весь этот люкс бывал завален старыми планами и чертежами, а к нему толпами шли озобоченные деловые посетители... И так не только в Ленинграде, но в Киеве, в Умани, в Ростове и других городах...

Судя по тому, с какой искренней любовью и почтительностью его встречали и в Павловске, и в Царском селе – нам даже чай с печеньем выносили в парк, где мы сидели на скамеечке, толк от работы дядя Коли был.

Что же касается, так называемой, личной жизни... Дядя Коля был необычен, неординарен и своеобразно красив. Высокий, подтянутый, стройный, с благородной сединой, воспитанностью и манерами сохраняющими стать прошлых веков, он как бы олицетворял собою блистательные времена Российской Империи. Не единожды наблюдал я брошенные в сторону дяди Коли восторженные взгляды женщин и особенно молоденьких девушек. Ещё бы – в их глазах, он казался эталонным мужчиной. И он, действительно, был таким!

Из донских краёв как-то донёсся слух, что у восьмидесятидвухлетнего дяди Коли произошёл не то что бы роман с ростовской вдовой, но что-то такое промелькнуло. И я с присущим молодости хамством спросил его:

– Дядя Коля, по казакам шёл голос – чего там в Ростове-то сделалось?

Он помрачнел и вздохнул:

– Боречка, ты мой самый близкий человек, и тебе я скажу: люди – злы, люди очень злы... – на том дядя Коля этот разговор и прекратил.

Жил он в Москве, в центре, в достаточно просторной двухкомнатной коммунальной квартире. Вторая комната принадлежала маленькой немолодой женщине. Дядя Коля как-то обронил, что у неё на фронте погибли два сына и она осталась на свете совсем одна.

Дама, иначе назвать невозможно, беззвучно пребывала в квартире, неслышно передвигаясь из кухни в комнаты и обратно. Когда я приходил к дяде Коле, она подавала на стол молча, не поднимая глаз, избегая встречаться взглядом. Всегда тщательно причёсанная, как тогда считалось «на немецкий манер» с тугими прилаченными буклями. За стол с нами никогда не садилась, к моему удивлению, дядя Коля её и не приглашал. Когда я спросил:

– А что она с нами за стол не садится?

– Не хочет. И не проси. Странная. Очень тяжёлый характер. Очень...

В комнате у дяди Коли, да и вообще во всей квартире сохранялась стерильная чистота, было всегда крахмально свежо и очень холодно...

– Кто у тебя прибирает? – спросил как-то я дядю Колю.

– Она...

– ?

– Ну, я же ей за это плачу...

В этой женщине чувствовалось какое-то болезненное напряжение.. Иногда даже казалось, что она очень недовольна тем, что я пришёл – вторгся в её тишину, и она, еле сдерживаясь, не может дождаться, когда я уйду.

– Да нет же! – уверял меня дядя Коля. – Это не так... Просто такой характер. Просто такой человек странный. Не обращай внимания.

Со своим сыном и внуками, живущими в Белоруссии, дядя Коля отношения поддерживал, но, пожалуй, только в эпистолярном жанре – открытки на праздники – не более.

– Там другая жизнь, – сын – человек, наверно, хороший, но... Говорить нам с ним не о чём...

О давно умершей жене тоже в разговорах не вспоминал никогда.

Имелась у дяди Коли негаснущая с годами страсть. Он обожал классическую музыку. Кроме письменного стола, узкой солдатской кровати и двух стульев, в его комнате стояли три громадных платяных шкафа, набитых пластинками и самая дорогая по тем времена радиоаппаратура. Настоящие сокровища, в том числе, наверное, по тем временам и в денежном эквиваленте, таили шкафы, но, увы, с годами дядя Коля начал гложуть. Не думаю, что он громом музыки был способен терзать свою соседку. Спасением явились большие японские наушники, которые он сутками не снимал, часто сидя на кровати и дирижируя рукой в такт только ему слышимой музыке.

Так он и врезался мне в память вместе с ледяной комнатой, молчаливой и тихой, как тень, соседкой и большой, словно не от этой фигуры, с узлами синеватых вен рукой, помывающей в воздухе в такт беззвучной музыке или тонкими бамбуковыми пальцами, отбивающими по одеялу только ему одному слышимую в наушниках фортепьянную пьесу.

Так он и умер, слушая музыку – будто уснул... Сын и внуки приезжали на похороны.

А за могилой стала ухаживать та женщина-тень, которая долгие годы содержала комнату дяди Коли в полной неприкосновенности и ездила на кладбище – менять на его могиле живые цветы... В любую погоду – каждый день...